



ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ: КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

(Развернутые тезисы выступления на
Балтийском форуме в Юрмале 28-29 мая

2004 г.)

Взаимоотношения общества и власти в посткоммунистических странах обычно анализируются и оцениваются в системе основополагающих категорий, содержание и значимость которых сегодня сами по себе проблематичны и нуждаются в прояснении. Остановлюсь лишь на некоторых «камнях преткновения» соответствующего политического дискурса. Они разнородны, в разной степени абстрактны и не в равной степени актуальны. Какое-то подобие системы они образуют лишь в преходящем контексте дискуссий о значении нынешней смены модели политической организации. Это такие категории, как *средний класс*, *гражданское общество*, *государство*, *народ*.

Средний класс упоминают в самой разной связи. Обобщая большинство точек зрения, при исключении экзотических, можно свести спор к двум основным позициям. Одни полагают, что среднего класса в России нет, и его возникновения в обозримом будущем не предвидится. Как следствие – нестабильность в обществе, неэффективность политической системы и необходимость апеллировать в основном к верховной власти, по возможности приручая ее и используя политические технологии для мобилизации электората. Другие склонны считать, что средний класс складывается, даже если не вполне сформировался. В этом для них главный источник надежды на демократическое будущее и на реализацию их собственных политических проектов.

Зададимся вопросом, по возможности избегая стереотипных суждений: существует все же в России и других постсоветских странах «средний класс» или нет? Простой ответ на него дать невозможно. Обычные при его обсуждении ссылки на статистику без качественного анализа не проясняют вопрос и способны лишь дополнительно запутать его.

«Средний класс», очевидно, существует, если понимать под этим термином не только статистически сравнительно многочисленную, но и заметную в повседневной жизни, социально привлекательную совокупность людей. Тех, кто обладает – применительно, конечно, к условиям времени и места – неким средним достатком, признанным большей

частью общества приличным. Прямых и косвенных свидетельств существования такого «среднего класса» достаточно. Миллионы жителей бывшего СССР, обживших курорты по всему Средиземноморью, Юго-Восточной Азии и др. Автомобильные пробки уже не только в Москве или Петербурге, но и едва ли не во всех крупных городах. Приватизированные квартиры, рынок жилья, начавший неофициально складываться еще в СССР, активное жилищное – в том числе пригородное – строительство. Массовое фактически, если не юридически, платное образование и такая же медицина. Очевидная, даже навязчивая экспансия экономики потребления, агрессивное утверждение потребительского стиля жизни, соответствующего довольно высокому ее уровню и т. д. Факты, подтверждающие существование относительно преуспевающего слоя общества можно умножать, даже если оставить в стороне теневую и полутеневую составляющую экономики, начиная с банальных «сберкасс в чулке».

«Средний класс» не существует, если рассматривать его не просто как статистически фиксируемую массовую «срединную совокупность» преуспевающих людей. В интересующем нас и актуальном в данный момент политико-культурном, а не только в чисто экономическом, контексте ее наличие – необходимое, но не достаточное условие. Этот класс должен еще восприниматься как более или менее упорядоченное извне (развитое право, правила поведения, обычаи) и внутри себя (моральные императивы, склонность к самоорганизации, приобретшая почти инстинктивный характер) сообщество тех, кто склонен к самовосприятию в качестве «сердцевины» общества, его смыслообразующего стержня, своего рода «соли земли». Опросы, проводящиеся в западных обществах, давно показывают, что со «средним классом» предпочитает отождествлять себя не только существенная часть людей, заведомо бедных, но и весьма заметная часть тех, кто по объективным показателям явно относится к богатым и даже очень богатым. Вместе с этим, «сердцевинный класс», как короля на театральных подмостках, играет окружение. Чтобы служить стабилизирующим политико-культурным фактором, его *modus vivendi* не должен ни слишком явно диссонировать с образом жизни высшего слоя общества, ни бросать слишком явный вызов тем, кто ниже на социо-экономической лестнице. Этот класс – неотъемлемая часть общества, согласного рассматривать свой состав в терминах континуума, а не конгломерата. Континуума в экономическом, культурном и политическом отношениях. В вертикальном и горизонтальном – территориальном измерениях. Та его часть, которая, не претендуя на принадлежность к экономической элите, не готова отказаться от ролей источника пополнения, наставника и цензора элиты политической.

Многое в посткоммунистическом обществе будет зависеть от способности «средне благополучной» – совокупности людей превратиться в более или менее социально ответственную «сердцевину» общества в таком понимании и перестать быть его аномалией, сверхпропорционально

представленной в политико-экономической столице. От того, произойдет ли замена принципа волчка в качестве стабилизатора, принципом пирамиды. В любом случае судьбы демократии и среднего класса в обычном смысле не связаны между собой жестким образом.

К такой категории, как «гражданское общество» относится многое из сказанного по поводу среднего класса. Тем более, что референтный, если не реальный, средний класс разросся на Западе едва ли не до границ общества в целом.

Подобно «среднему классу», «гражданское общество», как категория политической философии, претерпела на том же Западе долгую и сложную эволюцию. Несколько огрубляя, под «гражданским обществом» («гражданским состоянием») там первоначально понималось нечто едва ли многим лучшее, чем общество, живущее не по законам, а, как стало принято говорить сегодня в России, «по понятиям». Лишь эпоху спустя (ее продолжительность и историческое содержание весьма различны в разных государствах) «гражданское общество» стало восприниматься на Западе как некое самостоятельное alter ego в принципе правильно устроенного государства.

Проблематика гражданского общества в посткоммунистических странах не является калькой ни сегодняшних западных теории и практики, во многом утративших связь с реальным историческим опытом, ни того или иного «концентрированного» видения этого опыта, приобретшего статус know how.

Можно смутно ощущать или даже открыто признавать сам по себе факт непохожести того, что у нас называют «гражданским обществом», на модельное. Однако, несмотря на это, от теоретически осмысленного и возведенного в идеал опыта Запада нелегко абстрагироваться. Выбрав на рубеже 1980-1990-х гг. в качестве базового ориентира идею «возвращения на магистральный путь развития человечества», посткоммунистические элиты неизбежно получали такую ценность и такую проблему, как гражданское общество, в качестве одного из самых важных элементов дорожного несесера. В политическом дискурсе «для внутреннего пользования» проблематика гражданского общества абсорбировала самые разнородные порывы, направленные на защиту от произвола тотальной власти.

Тема гражданского общества с самого начала имела и прикладную международную составляющую. Она – своего рода доказательство приобретенного права на участие в диалоге с сообществом «цивилизованных» государств. Это сообщество претендует на роль хранителя эталона современной политики. Подобная роль досталась им по праву революционно-демократического рождения, а не в качестве плода разумного приспособленчества или же контрибуции, наложенной на побежденного, но в глубине души не смирившегося врага. В этом качестве тема гражданского общества стала важнейшим символом принятия lingua franca «цивилизованного сообщества». Разумеется, декларируемая совместная приверженность ценности гражданского общества не

всегда соответствовала и соответствует степени действительного понимания друг друга. Не случайно международный унисон защитников ценностей демократии, гражданского общества, прав человека с самого начала не мог заглушить обертоном: голоса тех, кто считал, что озвучивание одних и тех же ценностей, даже синхронное, не обязательно тождественно их одинаковому пониманию. Соответствующие высказывания раздавались с разных сторон, причем смысл их – при сходной же форме выражения – чаще всего также был различным. Создается впечатление, что в последнее время тема цивилизационного диссонанса обсуждается активнее, чем в недавнем прошлом. Декларированное или скрытое различие в понимании базовых политических ценностей действительно важно для отношений между «классическими» демократиями с одной стороны и «новыми», «электоральными» – с другой. И особенно это относится к ценностям, касающимся индивида непосредственно – как самоцели, а не как средства. Именно таким, как «гражданское общество» в его сегодняшнем понимании. Подобное понимание никогда не определяло всю совокупность отношений между Западом и Востоком, в том числе перспективы развития этих отношений на разных этапах. У идеологии свои законы и приемы, у дипломатии – свои.

«Площадная» (то есть наиболее активная, готовая выйти на улицу, чаще маргинальная или периферийная, чем элитарная) часть советского политического актива отреклась в конце 1980-х гг. от коммунистической идеологии. Даже претендовавшей к тому времени на обретение «человеческого лица». Ее примеру последовала в 1990-х гг. основная часть постсоветского «недосостоявшегося» среднего класса. Однако отказ от социалистической фразеологии и социалистической реальности, как и выбор «магистрального пути развития цивилизованного человечества», никогда не получали внятного объяснения. Такого, которое стало бы основой или хотя бы неотъемлемой части, политического (в широком смысле слова) мифа новой России. «Свобода», «демократия», «рынок» и т. п. новые ориентиры остались для основной части общества абстракциями, не столько регулирующими, сколько маскирующими течение реальной жизни.

На практике реформы часто объясняли, если вообще как-то объясняли, не тем, «что так жить нельзя», а тем, что «дальше так жить не удастся». Отдельный, но характерный пример. Бывшие члены правительства реформаторов до сих пор чаще всего оправдывают начатые ими преобразования не столько какой-то свойственной им универсальной разумностью, общечеловеческой естественностью, народностью или же потребностью в искуплении, сколько кризисной форс-мажорностью тогдашней ситуации. В противном случае, как утверждается, в стране наступил бы голод... Такая аргументация, как бы – всерьез или цинично – ни относились к ней сами авторы, была рассчитана на понимание и сочувствие со стороны соответствующего советской действительности довольного широкого слоя общества, мыслящего в традиционно-советских категориях. И до поры до времени она встречала

ожидаемое понимание. В сущности, расплывчатое объяснение реформ кризисом «системы» в том виде, в каком она сложилась к середине 1980-х гг., становится основой сравнительно широкой, внутренне разнородной «демократической коалиции» 1990-х гг. Такое объяснение позволило на время сблизиться «ленинцам», «бухаринцам», «социал-демократам», антикоммунистам. В контрапунктическом сочетании с их унисоном звучал голос «сталинистов», также отвергавших в то время и «брежневизм», и «перестройку».

Контекст, однако, изменился, и антисистемная коалиция растаяла, оставив ее энтузиастов *par excellence* – собственно «демократов» – в идеологическом тупике, состоянии разброда, общественной изоляции и в совокупном политическом меньшинстве. Она именно растаяла, а не распалась, поскольку мифологизированная сталинская версия коммунизма в основном перестала быть пугалом, объединяющим часть правящего слоя с частью как политизированного, так и не политизированного общества. Наследием идеологической полемики 80-90-х стали споры в рядах нового правящего класса об официальном отношении к отдельным символам «большевизма» и о практическом возвращении к некоторым реалиям «советского периода». Примеры из российской практики: мелодия государственного гимна и др., налоговое законодательство с «ностальгическими» 13% подоходного налога и др. И чаще всего такие споры ведутся в рамках парадигмы кризиса существующей системы применительно к той или иной ее составляющей. Только на этот раз речь идет о необходимости и/или возможности включения в политическую мифологию новой России фрагментов «советских» мифа и образа жизни ради укрепления существующего строя и расширения его социальной опоры. Лексика отчасти переменялась, грамматика же в основе своей осталась прежней. Ощущение «общего системного кризиса» как смыслового стержня государственного мифа, характерное для всего периода реформ 1980—2000-х гг., осталось не преодоленным.

Настрой реформаторов образца 1990-х, стержнем идеологии которых оказалась борьба с «системным кризисом» на путях обретения «магистрального пути», вошел в резонанс с естественным настроением реформаторской части чиновничества. Его представители еще до начала перестройки представляли себе (или полагали, что представляют) масштабы и внутреннего кризиса, включая кризис государственного аппарата, и общественной организации, и поражения страны в борьбе мировых систем. Как бы то ни было, 1990-е гг. стали периодом в целом плохо осмысленной (если вообще замеченной) и, во всяком случае – некритически воспринятой «симфонии» части расслабленного государства и части не сложившегося общества. Морально взявшая на себя ответственность за отправление власти «демократическая симфония» в ряде важнейших ситуаций фактически играет роль оппозиции в отношении «партии бывшей власти». Последняя иногда явно доминирует в Государственной Думе, остается скрыто влиятельной в чиновничьей среде

и постоянно подталкивается и провоцируется окрасившейся в «красно-коричневые» тона улицей, претендующей (вопреки данным социологических опросов) на монопольное выражение воли простого народа. При этом «демократическая симфония» постепенно деградирует.

С одной стороны, нарастает напряжение и взаимное непонимание между бывшим «демократическим» компонентом власти и «реформаторами-идеалистами», чуждыми принципам и приемам реальной власти или/и не допущенными к ее отпращиванию, а также к масштабной приватизации. С другой – идеология, стиль и специфика прошлого опыта все меньше противопоставляют друг другу «партию новой власти» и «партию бывшей власти» внутри складывающегося политического класса – возникающего, в свою очередь, симбиоза корпусов чиновничества и представительных органов. В начале 2000-х гг. положение в очередной раз качественно меняется.

Государство в лице, прежде всего, наиболее «легкой на подъем» исполнительной, точнее – чиновничьей власти, с некоторых пор выступает с отчасти оправданной самостоятельной (в меньшей степени – консолидированной) претензией на право властвовать, отказывая при этом в праве влиять на власть со стороны, как «демократической *тусовки*», так и «красно-коричневой *улицы*».

Общество же, в лице совокупности разнородных групп, организаций и некоторых СМИ, в свою очередь предъявляет претензию на право говорить своим голосом, влияя на целеполагание и политику власти или/и подменяя ее общественной самодеятельностью.

Одновременно активно обсуждается проблема практических взаимоотношений «государства» периода «управляемой демократии» и «гражданского общества» в том понимании, которое в 80-90-х гг. досталось российской общественной мысли от западной политической философии.

Сегодня обсуждаются две альтернативные модели отношений между государством и обществом в период после «демократической симфонии». Ведется это обсуждение, что понятно, в основном вне властных структур в узком смысле этого понятия.

Сторонники первой модели, среди которых выделяются активисты общественных организаций, призывают к эмансипации гражданского общества и к активной деятельности без оглядки на государство, построенное по проекту «управляемой демократии», а если необходимо, то и в противостоянии ему. Самое убедительное в этой модели – критика «антиобщественного» настроения государства в его нынешнем состоянии. Трудно, однако, представить себе, что без каких-то дополнительных условий биоценоз различных квазиобщественных образований может превратиться в организм – возможную составляющую искомого симбиоза политической власти и гражданского общества. Идеал *спонтанности* политического развития, свойственный «демократической симфонии» остается практически в безраздельном распоряжении общества. От него одного зависит – с точки зрения адептов спонтанности – приобретет

ли попытка воплотить его в жизнь «снизу» плодотворный характер или станет разрушительной.

Сторонники второй модели призывают именно государство активно взяться за формирование гражданского общества. По их мнению (ему нельзя отказать, по крайней мере, в доле справедливости), само общество, представленное сегодня в теории средним классом, а на практике – преимущественно слабыми разрозненными организациями, на это не способно. Основной способ воздействия на государство при этом – уговаривание (чтобы не сказать – вербовка) относительно цивилизованной в ее нынешнем воплощении верховной власти. Цивилизованной, по крайней мере, на фоне бюрократии, региональных и местных властей. Ей предлагается стимулировать проведение преобразований и формирование среднего класса, без которого возникновение гражданского общества не мыслится. Все это – во имя построения необычным (для исторического Запада) путем обычной для современного Запада политики. Понятно, что независимо от воли авторов идеи она привлекает к себе сочувственное в целом внимание верховной власти и поощряет энтузиазм чиновничества, готового обзавестись, в духе времени, *своей* демократией. На практике мифическая «управляемая демократия» выглядит в рамках этой модели как вполне реальная совокупность *импровизационно управляемых «демократий»* различных уровней и типов.

Две модели отношений между государством и гражданским обществом совпадают в плане преследуемых целей, но несовместимы друг с другом с точки зрения предлагаемых средств. Такое сочетание не может не стимулировать поиск какого-то «ключа», открывающего возможность либо их практического синтеза, либо изобретения новой теоретической модели, либо, наконец, перевода проблемы, переставшей сегодня быть чисто теоретической, но от этого не сделавшейся легче разрешимой, в принципиально новую парадигму. Все они в том или ином варианте обсуждаются сегодня.

Представляется, что потенциально плодотворным в принципе является третий подход. Такой, который особым образом интегрировал бы политическое философствование и политическую практику.

Каждая из рассмотренных моделей предлагает свой вариант игры с нулевой суммой. Ничего другого и не может быть при жестком противопоставлении гражданского общества государству, которое с некоторых пор присутствует в дискуссии преимущественно в качестве ее объекта, а не субъекта. Проблема не решается с государством, и не решается без него – примерно так можно обозначить сегодняшнее состояние дискуссии. И поскольку возвращение к «демократической симфонии» невозможно, да и едва ли для многих желательно, ее решение зависит от того, *удастся ли вовлечь в плодотворную игру, в которой выигрывают главные партнеры, реальное государство, а не собственное – правильное или неправильное – представление о нем.*

Государство и народ. Казалось бы, в отличие от прочих «каменной преткновения» понятий, содержание которых можно восстановить лишь анализируя ход неформальной дискуссии, смысл этих двух относительно прозрачен. Конституция 1993 года зафиксировала, какими видели – или хотели бы видеть – постсоветское государство и российский народ «отцы – основатели» новой России. Я попытался показать, каким оно видится спустя десятилетие, и не в нормативном акте, а на практике. Точнее – как воплотилась в жизнь, в чем-то изменив ее, в чем-то ей подчинившись, модель государства, конструкторы которой пришли к власти в начале 1990-х гг. Им удалось «привить» эту модель тогдашнему, во многом спонтанно развивавшемуся, государству. На основе консенсуса (иногда молчаливого) – включив в нее идеи и формулы, отражавшие противоречивый опыт подавляющего большинства общества «родом из СССР» или, по крайней мере – большинства его политически активной части, расколотой по отношению к другим идеям и формулам. На основе компромисса, – формулы, которые допускали такой компромисс. Наконец, силой и с помощью манипуляций – те, которые в силу существенных или конъюнктурных обстоятельств казались в тот период особо важными для представителей возобладавшей политической тенденции. По разным причинам эти формулы были или выглядели неприемлемыми для ее активных противников – главным образом в представительных органах власти – и, при этом, чуждыми большинству населения, мало понятными ему или/и для него безразличными. Настолько безразличными, что эту часть общества невозможно было использовать, выведя ее на улицу, в качестве «последнего довода» ни активным сторонникам модели, ни ее активным противникам.

Как известно, одна из властей в этой ситуации двоевластия, в конечном счете, добилась победы, применив на определенном этапе ее развития другой, классический «последний довод» – пушки. И каким бы ни был фактический результат конституционного референдума 1993 г., противники по-своему «узаконили» его, практически единодушно согласившись играть с победителями по установленным ими правилам.

Российскую политику начала 2000-х гг., однако, нельзя адекватно описать, лишь анализируя, каким образом воплотилась или не воплотилась в жизнь умозрительная модель 1990-х гг. Модель, в основе которой лежало несколько «системных» представлений. Они задавали ее основные ее параметры, однако содержание этих представлений не всегда оказывалось предметом рефлексии как ее создателей, так и критиков. Дело было в том, что *полемика между первыми и вторыми в основном велась в пределах одной и той же парадигмы, но по поводу других представлений.*

Большинство участников конституционных сражений (в кавычках и без кавычек) 1990-1993 гг. разделяло представление авторов всех конституционных проектов о возможности написать новую конституцию, что называется, «с нуля». Точнее – придумать ее на основе умозрительных представлений о том, как должен работать государственный механизм,

чтобы быть эффективным, современным, лучшим в мире и т. д. «Демократы» стремились наполнить текст основного закона важнейшими идеями западной государственно-правовой и политической теории, не пренебрегая иногда прямыми отсылками к этой теории. Так непосредственно в текстах конституционных проектов появлялись упоминания «разделения властей», «социального государства» и др. не просто как более или менее условные обозначения совокупностей неких конкретных технологий, а в качестве фундаментальных принципов государственного строительства. Произнося подобные заклинания, на практике «отцы-основатели» пытались брать лучшее из готового. Негласной целью стало заимствование наиболее «передовых» идей (в действительности – звонких фраз) из конституций разных стран разных времен, в том числе из тех, чьи авторы занимались благородным юридическим плагиатом раньше наших соотечественников. Примечательно, что «коммунисты», выведшие тысячи людей на улицы призывами к реставрации советского строя, не могли противопоставить подобному творчеству ничего, кроме теоретически не мотивированного саботажа, оппортунистических попыток решать в рамках конституционного процесса практические задачи захвата максимального числа властных позиций и, наконец, внесения технических, по сути, редакционных поправок – не всегда, кстати, бессмысленных. Дело здесь не в какой-то временной растерянности «коммунистов», оскудении марксистско-ленинской теории и т. п. Им действительно в принципе нечего было противопоставить как процессу, так и результатам конституционного творчества их противников и наследников – «демократов». Все советские конституционные тексты – в том числе «основные законы» РСФСР 1918, 1937 и 1978 гг., а также СССР 1924, 1936 и 1977 гг. создавались на основе того же подхода. Они были нафаршированы максимумом благородных идей (из числа дозволенных в конкретной исторической обстановке в качестве именно идей), которые не имели прямого отношения к практической политике. Своеобразие конституции 1993 г., однако, заключалось в том, что подобные идеи (в значительной части, хотя не исключительно, сосредоточенные в «трудноизменяемых» ст. 1 и 2) соседствовали и продолжают соседствовать в ней с описанием вполне определенных механизмов, в совокупности определяющих правила конкурентной борьбы в политике. Оставаясь в рамках этой конституции, в принципе возможно, но на практике весьма трудно, вернуться к советской модели, «органично» сочетавшей демократически звучащие конституционные декларации с монополизацией власти одной политической силой. Не случайно, видимо, стала предметом своеобразного консенсуса неизменяемость текста многими критикованной конституции, с минимальным перевесом голосов принятой на референдуме, результат которого у многих до сих пор вызывает сомнения.

Источником власти в России конституция 1993 года провозглашает народ, чему на практике соответствует технология «придумывания» ее содержания на основании меняющихся умозрительных представлений

с последующим его утверждением большинством электората или избранного им представителями. И здесь конституция 1993 года, как и основанный на ней политический строй, сталкивается с двумя проблемами.

Во-первых, зыбкий и, называя вещи своими именами, довольно беспринципный консенсус по поводу «полезной неизменности» конституции *rebus sic stantibus* плохо совместим с подобной конституционной философией.

Во-вторых, правомерность, разумность или/и историческая обоснованность самой идеи придумывания и совершенствования основного закона именем народа при последующем прямом или косвенном одобрении большинством электората никогда и никем не доказывалась. Разрыв в 1917 г. правопреимства в отношении императорской власти, опиравшейся – даже после 1906 г. – совсем на другие принципы и ценности, никак не объясняется исторически и философски ни в самой конституции, ни в каких-либо других – не менее авторитетных, чем она – текстах. Никак не объясняется, кстати, и отказ от советского наследия в 1991 г.

Это идеологические бомбы под зданием нынешней российской государственности, и фитили уже тлеют, даже если не все это признают. То начинающийся, то на время затухающий публичный спор о содержании учебников истории, не объясняющих смысла произошедшего с Россией в XX веке, похоже – одно из видимых проявлений скрытой, но оттого не менее серьезной политической проблемы. Тема и алгоритм спора – важный симптом, даже если его «пружины» сами по себе не заслуживают особого внимания.

Еще один «краеугольный камень преткновения» сегодняшней российской государственности – изначальное допущение, что государственное строительство автономно в отношении территориального состава государства. Не обсуждая в данном случае вопрос о причинах распада СССР, отмечу, что и «демократы», и «коммунисты» – и те, и другие в массе своей сожалеющие о гибели «большой России» и, при этом, одобрявшие Беловежские соглашения – отнеслись к этому событию в целом более спокойно, чем можно было ожидать. Первые – потому, что, согласно их философии, «придуманная» и формально одобренная народом идеальная модель государственности могла с равным успехом укорениться на любой территории. Повсеместное же торжество демократической в политике, рыночной в экономике модели обесмыслит саму идею государственного суверенитета и, соответственно – национальных границ. Возможно, даже к лучшему, если недемократические, нерыночные сообщества – будь то Туркмения или Белоруссия – до поры, до времени останутся за пределами Российской Федерации. Вторые, постоянно обвинявшие и продолжающие обвинять «демократов» в предательстве национальных интересов, не могут в глубине души не признавать, что правовые и прочие предпосылки распада страны были результатом – вовсе не обязательно желанным – вполне сознательной

политики большевиков. Они же провели на карте и границы РСФСР – будущей РФ. И те, и другие, несмотря на расхождения по ряду иных позиций, вновь объективно оказались в одном политико-философском лагере выдумщиков универсальных моделей. И, естественно, и те, и другие столкнулись – в свое время и на подвластной в данный момент территории – с некоторыми невыдуманными обстоятельствами. Такими, как инородность – по отношению к доминирующей культуре – даже вполне лояльных организованных конфессий. Или такими, как внутренне противоречивое самоутверждение этнических элит, претендующих в ряде случаев на роль как носителей территориального суверенитета на неоднородной в этническом отношении территории, так и представителей «своих», иногда рассеянных по обширной территории, этносов. В итоге и «демократы», и их предшественники вынуждены были хотя бы на полшага, в принципе, отступить на реально подвластной им территории от своего универсализма. Дальше он продолжал восприниматься как панацея в отношении проблем того «ближнего зарубежья», которое существовало на данный момент. В случае большевиков это был «социалистический лагерь», взорвавшийся в подходящий момент не в малой степени из-за такого отношения к себе. В случае «демократов» – нероссийское постсоветское пространство, СНГ.

И вновь мы обнаруживаем черты как сходства, так и различия двух моделей. Большевики из последних сил пытались не допустить партикуляризации отношений с «союзными» республиками и странами, по возможности допуская лишь символический партикуляризм. «Демократы» тоже до последнего пытались создать «новый, более свободный» союз в границах бывшего СССР, но поступали так не столько из принципа, сколько по неопытности и по инерции, сообщенной советским воспитанием. Некоторое время назад идеи прагматизма и партикуляризма (преобладание двусторонности в отношениях с бывшими ССР) были официально провозглашены основополагающими в политике России на постсоветском пространстве. Создается впечатление, что модель, предполагающая реальное, пусть фрагментарное, влияние на нем, начинает преобладать над символической и ностальгической идеей, условно говоря, сохранения этим пространства единого цвета на карте почти любой ценой. Такая эволюция сближает, однако, нынешнюю РФ с Российской империей, строившейся по принципу (если попытаться его реконструировать): «единообразие – где возможно, многообразие – где необходимо». Однако и сферы реального влияния Соединенного Королевства, Франции не совпадают, конечно же, с политическими границами этих государств, и отношения этих стран с их «союзниками» строятся не только на универсальной, но и, по большей части – на партикулярной основе. Новейший опыт, в сочетании с опытом всего XX века, нуждается сегодня в переосмыслении.

Конституция 1993 года провозглашает наименования Российская Федерация и Россия равнозначными (ст. 1, п. 2). На практике, однако, в течение первого десятилетия реформ первое – даже по порядку перечисления

– название, безусловно, доминировало. С точки зрения ряда «демократов» оно лучше отражало излюбленную ими и вообще модную тогда идею гражданской нации, однотипной с другими гражданскими нациями. С точки зрения многих, если не большинства, «коммунистов» референтной общностью оставался СССР. Имя же «Россия» было приемлемо для них только в словосочетании «Советская Россия», самостоятельно же имело явно негативную окраску – в отличие от наименования «Российская Федерация»: так иногда для краткости неофициально называли в свое время и РСФСР. Критики же с обеих сторон и извне вообще отказывали РФ в праве считаться Россией. В лучшем случае бывшая РСФСР оставалась ее «огрызком». Сегодня положение меняется, возможно, что в некоторой связи с изменением политики в отношении бывших союзных республик, но далеко не только по этой причине.

Как и следовало в свое время ожидать, «многонациональный народ Российской Федерации» (Преамбула Конституции), являющийся «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации» (ст. 3), рано или поздно должен был оказаться еще одним потенциальным «краеугольным камнем преткновения».

Надежды «демократов» начала 90-х гг. на то, что такие лозунги, как «демократия и рынок!», «обогащайтесь!» или «вперед, на проторенный путь!» (такова квинтэссенция, если не форма, множества конкретных слоганов), могут лечь в основу национальной идеи, не оправдались. К концу 1990-х гг. не только слово «патриот», но и нелепое словосочетание «национал-патриот», перестают быть пугающими и ругательными даже для большинства «демократов», и тема патриотизма, как естественной, не придуманной национальной идеи начинает звучать все громче. Это происходит на фоне некоторого роста оптимистических настроений в обществе, относительного успокоения после шока предыдущего десятилетия и прочих, положительных в целом, изменений в психологическом состоянии россиян, не обязательно совпадающих с объективной динамикой социальных, экономических, демографических показателей. Эмоциональность патриотической идеи, между тем, плохо сочетается с ее объявленным объектом и субъектом одновременно – «многонациональным народом Российской Федерации». Популярными становятся темы защиты и распространения русского языка, развития высокой русской культуры, приобретшей в XX веке мировое значение, возвращения к культурным корням (включая, разумеется, православную составляющую культуры), особенно же – тема «русскости», как образа жизни, автономного в отношении национальности, этничности, конфессиональной принадлежности и даже, отчасти, языковой культуры. Все большее внимание привлекает к себе русская диаспора всех поколений, ставшая в 1990-х гг. массовым явлением, а также ее «периферия» – масса совершенно разных людей на всех континентах, так или иначе связанных сегодня или в прошлом с Россией/СССР и русской культурой.

Идеология гражданской нации, доминировавшая в начале 1990-х гг., в 2000-х гг. обнаруживает свою «изнанку» – архетип общности, созданной (отчасти – продолжающей создаваться) и объединяемой культурой, как высокой, так и народной. Мысль о том, что удастся создать «с чистого листа» гражданскую нацию, игнорируя культурную составляющую, была, конечно, наивной. Ничего подобного невозможно обнаружить ни в одной стране, где наличествует развитое представление о гражданстве и существует высокая культура. Сегодня маятник, «подвешенный» в противной законам физики крайней позиции, совершает естественное для маятника движение в противоположную сторону. Отражением происходящей в течение десятилетия эволюции служит хроника восьми Всемирных русских народных соборов, важнейшим инициатором созыва которых является Русская Православная церковь. Если для первых соборов было характерно (помимо прочего) осторожное взаимное «прощупывание» позиций участников при крайней сдержанности, проявлявшейся представителями иерархии и обычной несдержанности, свойственной тогдашним «национал-патриотам», то на последних явно преобладает – и громко, и достаточно солидарно, заявляется – тема культуры в указанном выше смысле, в сочетании с постановкой конкретных, более или менее технологически проработанных экономических, социальных и политических проблем. То же движение маятника, однако, выносит на поверхность социальной жизни и погромщиков (скинхеды, русские фашисты и пр.). Их появление стало, судя по всему, одной из причин того, что успевшие найти свое место в новом обществе и теперь несколько напуганные «национал-патриоты» образца 1990-х, гальванизовавшие стерильный «патриотизм» образца конца 1940—1950-х гг., резко сбавили тон полемики, утратив, таким образом, изрядную долю политической самобытности.

Немалый разрушительный потенциал обнаруживает в нынешней России еще одна государствообразующая идея: модель национально-территориального устройства РФ, в основном доставшаяся ей в наследство от РСФСР. В сегодняшней России, где место коммунистической мифологии все активнее занимает не идея гражданской нации, а мифология патриотическая, отраженная в идеологии «культурной нации», реалии, порожденные и порождаемые этой моделью, все труднее объяснить и оправдать идеологически. Все труднее становится объяснить, почему признанный культурно- и государствообразующий, но, при этом, далеко не абсолютно доминирующий, этнос, русские, лишен тех прав, которыми обладают другие этносы или на которые претендуют от их имени представители некоторых этнических элит. Речь идет о праве на «свою» территорию в сочетании с претензией на представительство всех людей данной национальности в стране и, в некоторых случаях – даже в мире?

Сразу же отмечу, что исправление допущенной несправедливости на основе любой простой логики, исходящей из абстрактной идеи «восстановления элементарной исторической несправедливости», скорее

всего, обернулось бы общенациональной катастрофой. На то и история, чтобы творить несправедливости. На то и политика, чтобы не играть в игры с нулевой суммой. В частности, такие, в которых «русский патриотизм», понятый как набор нескольких простых мыслей, противопоставлялся бы «нерусскому началу», понятому как нечто единое, отрицающее «русский патриотизм» по определению.

Так называемый «национальный вопрос» – та невероятно запутанная и запущенная область, в которой рефлексивные и функциональные элиты всех заинтересованных сторон могли бы проявить свои лучшие качества, в первую очередь, обратив внимание на креативный потенциал идеи культурного патриотизма. Важным стимулом в данном случае должны стать исторические примеры проявления ими других своих качеств.

...Подводя краткий и, по необходимости, промежуточный итог дискуссии о взаимоотношениях общества и государства в посткоммунистической России, можно сказать, что главным в этих отношениях сегодня является осознание потребности в новой парадигме и готовность участвовать в ее практическом воплощении. Время, когда разбрасывание камней сменялось их сбором – уже история. Сегодня существует потребность в искусстве отделить краеугольные камни от камней преткновения и технологиях, позволяющих использовать по назначению первые и обходить вторые.